

Евгений Андреевич Соловьев

**Н.М. Карамзин. Его
жизнь и научно-литературная
деятельность**



Жизнь замечательных людей

Евгений Соловьев

**Н.М. Карамзин. Его жизнь и
научно-литературная деятельность**

«Public Domain»

Соловьев Е. А.

Н.М. Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность /
Е. А. Соловьев — «Public Domain», — (Жизнь замечательных
людей)

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

Глава I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Евгений Андреевич Соловьев Карамзин. Его жизнь и научно- литературная деятельность

Биографический очерк Е. Соловьева

С портретом Н. М. Карамзина, гравированным в Петербурге К.

Адтом



Глава I

Детство. – Отрочество. – Юность

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в одном из поместий своего отца, Михаила Егоровича. Род Карамзиных – старинный дворянский, ведет свое происхождение от татарского выходца Кара-Мурзы, который при царях (когда, в точности неизвестно) поступил на службу Москвы, принял крещение и получил земли в Нижегородской губернии вместе с дворянским званием. Отец Карамзина, отставной капитан армии, обладал характером простым и добрым и отличался старорусским гостеприимством и обязательностью. Женат он был два раза и всю свою жизнь провел в полном помещичьем довольстве. Николай Михайлович родился от первой его жены – Екатерины Михайловны, урожденной Пазухиной, скончавшейся скоро – хотя опять-таки неизвестно когда – после появления на свет своего сына. Гораздо позже, в 1793 году, Карамзин в «Послании женщинам» уделил несколько по обыкновению чувствительных строк своей матери, где говорит между прочим:

Ах! Я не знал тебя!.. Ты, дав мне жизнь, сокрылась
Среди весенних, ясных дней,
В жилище мрака преселилась!..
Я в первый жизни час наказан был судьбой.

Стихотворение заканчивается любопытным признанием:

Твой тихий нрав остался мне в наследство,

– признанием, как увидим ниже, совершенно справедливым.

Детство свое Карамзин провел на берегу реки Волги, и картины природы Поволжья оставили в его душе сильное, неизгладимое впечатление. В юности он не раз воспевал на своей «слабой лире» те места, где, говорит он:

Я природу полюбил,
Ей первенца души и сердца
Слезу, улыбку посвятил,
И рос в веселии невинном,
Как юный мирт в лесу пустынном!..

Каким путем научился он читать и писать – мы хорошенько не знаем. По-видимому, обязанности первого наставника исполнял дьякон местной церкви, с которым Карамзин, по обычаю того времени, прочел сначала Часослов, а затем перешел к гражданскому шрифту, не представившему особенных затруднений благодаря редким, блестящим способностям ребенка. Немного позже приставили к нему еще и немца-гувернера, предобродушнейшее, хотя и недалекое существо.

К чтению и одиночеству Карамзин, несмотря на то, что у него было три брата: Василий, Федор и Александр, – пристрастился очень рано. Читал он все, что попадало под руку и что можно было найти в книжном шкафу. «Дон-Кихота» он узнал еще в детстве, сильное впечатление произвели на него и другие романы и повести, из которых впоследствии не без

улыбки вспоминал он о «Даире», восточной повести, «Селиме и Дамассине», повести *африканской*, «Похождениях Мирамонда» и прочее. Попадались ему в руки и исторические сочинения, причем особенно увлекался он Сципионом Африканским и, разумеется, сам себя воображал героем.

Воображения – той силы, которая неотразимо влечет человека на поприще писателя, художника, артиста, – было очень много уделено Карамзину от природы. Усиленное, хотя и беспорядочное чтение, разумеется, должно было развивать ту же способность. Карамзин читал запоем, затаив дыхание, забывая решительно обо всем. Забравшись куда-нибудь в глушь сада, на берег Волги, он просиживал за книгами целыми днями, забывая о завтраке и обеде, и только сильный дождь или гроза заставляли его опомниться и прийти в себя. В романах ему открылся новый свет. «Я, – говорит он, – увидел, как в магическом фонаре, множество разнообразных людей на сцене, множество чудных действий, приключений – игру судьбы, дотоле мне совсем неизвестную... (но какое-то предчувствие говорило мне: ах! и ты некогда будешь ее жертвою! и тебя охватит, унесет сей вихорь... куда? куда?...) Сие чтение не только не повредило моей юной душе, но было еще весьма полезно для образования внутреннего чувства. В „Даире“, „Мирамонде“, в „Селиме и Дамассине“ (знает ли их читатель?), одним словом, во всех романах... герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными, все злодеи описываются самыми черными красками, первые наконец торжествуют, последние, как прах, исчезают. В нежной моей душе неприметным образом, но буквами неизгладимыми, начерталось следствие: итак, любезность и добродетель одно! итак, зло безобразно и гнусно! итак, добродетельный всегда побеждает, а злодей гибнет!» Порою, оставляя книгу, Карамзин смотрел на «синее пространство Волги», на «белые паруса судов и лодок», на «станции рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же мгновение снова парят в воздухе». Он полюбил природу, как книги, за то, что ее виды и картины уносили его в царство грез; грезы же постепенно сделались все более и более необходимым элементом его бытия. На десятом году от рождения он мог уже «часа по два играть воображением и строить замки на воздухе». Опасности и героическая дружба были любимой мечтой мальчика, причем, разумеется, он всегда воображал себя избавителем какой-нибудь фантастической Дульцинеи. Он «мысленно летел во мрак ночи на крик путешественника, умерщвленного разбойниками, или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его...» Сверх того он любил грустить, не зная о чем. «Голубые глаза его сияли сквозь какой-то флер, – прозрачную завесу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположение в грусть». «Ах! – восклицает Карамзин, заканчивая картину своего детства – самый лучший родитель не может заменить матери, добрейшего существа в мире! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяет сердцу во всех отношениях!...»

Между прочим, однажды во время чтения в лесу с ним случилось характерное приключение, которое он сам описал, изобразив себя под именем Леона: «Гроза усиливалась: мальчик любовался блеском молнии и шел тихо, без всякого страха. Вдруг из густого леса выбежал медведь и прямо бросился на Леона. Дядька не мог даже и закричать от ужаса. Двадцать шагов отделяют нашего маленького друга от неизбежной смерти; он задумался и не видит опасности: еще секунда, две – и несчастный будет жертвою яростного зверя. Грянул страшный гром... какого Леон никогда не слыхивал; казалось, что небо над ним обрушилось и что молния обвилась вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать: „Господи!“ Через полминуты взглянул – и видит пред собою убитого громом медведя. Дядька насилу мог образумиться и сказать ему, каким чудесным образом Бог спас его».

«Этот удар грома, – добавляет Карамзин, – был основанием моей религии». Но, разумеется, кроме книг и «синего пространства Волги», на ребенка влияла и домашняя его обстановка. К его отцу, хлебосольному, гостеприимному помещику, то и дело наезжали гости, соседи. Маленький Карамзин любил встречать их и, завидев у крыльца повозки или брички, «с

великим удовольствием» бежал в кабинет к отцу, крича по дороге: «Батюшка, едут гости!» – на что отец неизменно отвечал: «Добро пожаловать!» «Провинциалы наши, – вспоминает Карамзин, – не могли наговориться друг с другом; не знали, что за зверь политика и литература, а рассуждали, спорили и шумели. Деревенское хозяйство, известные тяжбы в губернии, анекдоты старины служили богатым материалом для рассказов и примечаний». «Как теперь, смотрю на тебя, – читаем мы дальше, – заслуженный майор Фадей Громилов, в черном большом парике, зимою и летом в малиновом бархатном камзоле, с кортиком на бедре и в желтых татарских сапогах; слышу, слышу, как ты, не привыкнув ходить на цыпках в комнатах знатных господ, стучишь ногами еще за две горницы и подаешь о себе весть издали громким своим голосом, которому некогда рота ландмилиции повиновалась и который в ярких звуках своих нередко ужасал дурных воевод провинции! Вижу и тебя, седовласый ротмистр Бурилов, простреленный насквозь башкирскою стрелою в степях уфимских; слабый ногами, но твердый душою; ходивший на клюках, но сильно махавший ими, когда надлежало тебе представить живо или удар твоего эскадрона, или омерзение свое к бесчестному делу какого-нибудь недостойного дворянина нашего уезда. Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводский товарищ Прямодушин, и на орлиный нос твой, за который не мог водить тебя секретарь провинции, ибо совесть умнее крючкотворства; вижу, как ты, рассказывая о Бироне и тайной Канцелярии, опираешься на длинную трость с серебряным набалдашником, которую подарил тебе фельдмаршал Миних».

Препровождение времени, как видно, было незатейливое. К разговорам надо прибавить обед и закуски, тянувшиеся часами, обильное возлияние и некоторое фрондирование, не заходившее, впрочем, за пределы губернии и не обращавшееся ни на кого выше исправника или, в крайнем случае, губернатора. В воспоминании об этом фрондировании мелкопоместных дворян у нас сохранился интересный документ, скрепленный подписью всех друзей-провинциалов Карамзина-старшего, Громилова, Бурилова, Прямодушина и проч. Документ, названный договором братского общества, гласит: «Мы, нижеподписавшиеся, клянемся честию благородных людей жить и умереть братьями, стоять друг за друга горою во всяком случае, *не жалеть ни трудов, ни денег для услуг взаимных*, поступать всегда единодушно, *наблюдать общую пользу дворянства*, вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: «тот дворянин, кто за многих один»; не бояться ни знатных, ни сильных, а только Бога и государя; *смело говорить правду губернаторам и воеводам*, никогда не быть их прихлебателями и не такать¹ против совести. А кто из нас не сдержит своей клятвы, тому будет стыдно и того выключить из братского общества».

Когда в доме бывали гости, Карамзин постоянно вертелся между ними. Его любили и ласкали. По его собственным словам, «он вкрадывался в любовь каким-то приветливым видом, какими-то умильными взорами, каким-то мягким звуком голоса, который приятно отзывался в сердце...» Приветливый, несколько грустный мальчик любил карабкаться на колена отставных воинов, слушать их громкие речи, набивать им трубки, подавать угольки или трут. Но особенно ему нравились бесчисленные и бесчисленно много раз повторявшиеся рассказы о победах Миниха, о подвигах русского войска и другие им подобные воспоминания ветеранов.

До мирного кружка, собиравшегося в барском доме глухого поместья Оренбургской губернии, редко долетали слухи о петербургских событиях, а если и долетали, то не возбуждали особенного интереса. Вся их политическая гордость сосредоточилась на том, чтобы смело говорить правду губернаторам и воеводам и наблюдать общую пользу дворянскую. О большем они не мечтали, да и трудно было мечтать им, хорошо еще помнившим все ужасы бироновского владычества и «пременность» судьбы, посылавшей в вечную ссылку то Миниха, то Бирона. Впрочем, кое-что доносилось из столицы и к ним, в глушь оренбургских степей. С удоволь-

¹ не идти

ствием приняли они указ о вольности дворянской и порадовались за детей своих, которые таким образом освободились уже от обязательной государственной службы, подчас тяжелой, а для бедного барина всегда неприятной. Они струхнули, когда распространился слух о том, что за вольностью дворянской последует крестьянская; но слух оказался ложным, и они вздохнули с облегчением. Указ императрицы против взяточничества произвел на них впечатление тем более, что у каждого из них имелись тяжбы с родственниками или соседями, и приказные козявки высасывали из них последние соки. С недоумением присутствовали они на выборах в комиссии уложения, но потом, сообразив, в чем дело, строго-настрого заказали своему депутату блюсти интересы дворянские. За заседаниями комиссии они не следили, уповая на «благорасположение Матушки государыни» к дворянскому сословию. От вечных воспоминаний серьезно отвлекли их лишь пушечные залпы в Крыму, громкие победы Румянцева приводили их в восторг, и с гордостью рассуждали они о непобедимости российского воинства...

Вот что видел и слышал вокруг себя в детстве маленький Карамзин, воскликнувший впоследствии со своим обычным риторическим пафосом: «Родина, Апрель жизни, первые цветки весны любезной! Как вы милы всякому, кто рожден с любезной склонностью к меланхолии!»

В детстве Карамзин часто бывал в Симбирске и даже учился там в пансионе немца Фавеля, но чему и как – неизвестно. Здесь же произошел первый его роман с помещицей Пушкиной, кончившийся впрочем не особенно трагически: влюбленному 12-летнему мальчику возлюбленная помещица надрала уши.

13-ти и 14-ти лет Карамзин отправился в Москву, где и поступил в университетский пансион Шадена. Личность этого педагога заслуживает полного нашего внимания. По свидетельству Фонвизина, «сей ученый муж, т. е. Шаден, имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши уже были очевидны». Шаден был немец, родом из Пресбурга. Прослушав курс философии в Тюбингене, он был вызван в Москву и получил в недавно основанном тогда университете сразу четыре кафедры: нравоучения, права естественного и народного и политики. Приехав в Россию и заняв место директора университетской гимназии, Шаден сообразил, что университет сам по себе может принести очень мало пользы. Необходимо было, по его мнению, учредить средние и низшие школы и частные пансионы. Поэтому на торжественном акте 1751 года, в присутствии двора, он произнес речь о заведении гимназий в России, а вскоре сам, примера ради, открыл пансион по образцу германских.

В пансионе было обращено особенное внимание на изучение языков, и Карамзин, прилежно занявшись ими, вскоре сделал значительные успехи, чем обратил на себя особенное внимание Шадена. Тот стал водить его с собою к знакомым иностранцам, чтобы доставить своему любимцу случай поупражняться по-французски или по-немецки, давал ему читать хорошие книги и, кажется, предвидел уже в нем будущего литератора. Вскоре Карамзин стал посещать университетские классы, где, по его собственному признанию, все учились если не наукам, то *русской грамоте*.

Так прошло четыре года. По понятиям того времени продолжать занятия науками далее 17–18 лет было так же зазорно для юноши, как для девушки не выйти замуж к этому сроку. Надо было думать о карьере, и Карамзин, пользуясь протекцией отца, записался подпрапорщиком в Преображенский гвардейский полк. Служба требовала его присутствия в Петербурге; он отправился туда и первым делом познакомился со своим родственником по матери и будущим известным писателем Дмитриевым. Вот что рассказывает последний о встрече с Карамзиным.

«Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, рассказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу, вижу миловидного, румяного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя».

«Стоило только услышать имя Карамзина, как мы уже были в объятиях друг друга. Стоило нам сойтись три раза, как мы уже стали короткими знакомцами».

Еще более Карамзин сблизился и подружился в Петербурге со старшим братом Ивана Ивановича, Александром Ивановичем, о котором сохранилось несколько воспоминаний в «Письмах русского путешественника» и в статье «Цветок на гроб моего Агатона».

«Едва ли не с год мы были неразлучны, – продолжает Дмитриев, – склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах, укрепляли нашу связь день ото дня более: мы давали взаимный отчет в нашем чтении. Между тем я показывал ему иногда мелкие мои переводы, которые были печатаны особо и в тогдашних журналах; следуя моему примеру, он принялся и сам за переводы. Первым опытом его был *разговор австрийской Марии-Терезии с нашей императрицей Елисаветой в Елисейских полях*, переведенный им с немецкого языка».

«Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию переводчика, книгами из своей книжной лавки. Не могу без улыбки вспомнить, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика Фильдингова „Томаса Джонса“ („Tom Jones“), в маленьком формате с картинками, перевода Харламова. Это было первым его возмездием за словесные труды».

«Словесные труды» прельстили Карамзина. В том же 1783 году он перевел идиллию Геснера «Деревянная нога», в которой каждая фраза удивительно хорошо восстанавливает перед нами язык слащавой и добродетельной немецкой поэзии прошлого века – до Гете и Шиллера. В идиллии речь идет, разумеется, о молодом пастухе, пасущем коз на берегу источника, о приятном шуме свирели, о добродетельном старце, поучающем юношество, и многих других одинаковых вещах.

Но как ни приятны были словесные труды, юноша рвался к геройским подвигам и хотел «разить весь свет», чтобы «прельстить женщин». Разить весь свет значило в то время воевать с турками, и Карамзин стал проситься в действующую армию. Но назначение зависело преимущественно от полкового секретаря, который, как все секретари, брал взятки, и так как у Карамзина денег было мало, то от желания разить свет ему, к счастью, пришлось отказаться. Он, разочарованный, вышел в отставку и уехал в Симбирск, где в это время умер его отец, оставив после себя небольшое наследство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.